

## II. В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ „НА ДОЛГИХ“

Обсуждение вопроса о том, следует ли Николаю избрать духовную карьеру или лучше поступить в университет, началось в семье задолго до его отъезда в Петербург. Существует версия, что неприятности по службе, которые возникли у Гавриила Ивановича, повлияли на его решение предоставить сыну полную свободу в выборе будущего пути. Гавриил Иванович был уволен от присутствования в консистории за нарушение формальности при записи новорожденного в церковных книгах. Обида как бы подсказала отцу, что сын может и не идти по его стопам.

Казус этот смутил и Евгению Егоровну, которая прежде твердо держалась того мнения, что сын должен остаться в духовном звании.

«Николай учится прилежно попрежнему, — писала она в одном из писем родственнику, — по немецки на вакации брал уроки, по-французски тоже занимался. Мое желание было и есть оставить его в духовном звании, но согрешила: настоящие неприятности поколебали мою твердость; всякий бедный священник работай, трудись, а вот награда лучшему из них Господь да простит им несправедливость».

С другой стороны, А. Пыпин, очень близко стоявший к семье Чернышевских, говорит, что Гавриил Иванович просто-напросто был вынужден уступить настойчивому желанию сына получить светское образование.

Должно быть, обе эти причины способствовали тому, что уже вскоре после определения Чернышевского в семинарию начались разговоры о возможности перехода его в университет.

Еще за полтора года до отъезда Чернышевского в Петербург Гавриил Иванович запрашивал своего родственника и земляка Раева, учившегося там на юридическом факультете, может ли Николай поступить в университет, не окончив и среднего отделения семинарии.

Вероятно, не последнюю роль сыграло здесь и влияние Саблукова, преподававшего в семинарии татарский и арабский языки.

Обучение этим языкам выходило за рамки обязательной семинарской программы, но Саблуков сумел заинтересовать Чернышевского, который усердно занимался у него.

Позднее, в университетские годы, Чернышевский с необыкновенным рвением и упорством продельвал чрезвычайно трудоемкие и кропотливые изыскания по славянской филологии у профессора Срезневского. Первые навыки в такого рода работах он получил еще в семинарии, занимаясь у Саблукова.

Однажды Чернышевский начал составлять указатель топографических названий татарского происхождения в Саратовской губернии. Он раскладывал на полу огромную карту, собирал, проверял названия сел, деревень, урочищ, давал татарское написание названий и перевод их на русский язык.

Вообще длительный интерес Чернышевского к лингвистике, едва не заставивший его избрать чисто ученую

деятельность на этом поприще, связан с занятиями у Саблукова, отметившего своего ученика покровительством и дружбой. В свою очередь, благодарный ученик признавался ему: «Из всех людей, которым я обязан чем-нибудь в Саратове, я уважаю вас более всех, как ученого и наставника моего, и люблю более всех, как человека».

Много лет спустя, томясь в Петропавловской крепости, Чернышевский вспомнил о нем, как об одном «из добросовестнейших тружеников науки и чистейших людей», каких он знал.

Вероятнее всего, что именно Саблуков убедил своего ученика не ограничиваться семинарским образованием, а добиться поступления в университет. В письме к Саблукову Чернышевский вскоре же по приезде в Петербург и поступлении на философский факультет писал: «Обстоятельства, известные Вам, не допустили меня изорать восточный факультет, но ни любовь моя к восточным языкам и истории, ни признательность и живейшая благодарность моя к Вам, как первому наставнику моему по восточным языкам, не могли и не могут уменьшиться от того, что другие предметы должен формально изучать я в продолжение этих четырех лет».

Обстоятельства, помешавшие Чернышевскому избрать восточный факультет, нам неизвестны. Но характерно намерение, внушенное Саблуковым. Весь тон письма подсказывает, что в Петербург Чернышевский отправился, вдохновляемый любимым учителем.

В декабре 1845 года было подано прошение ученика среднего философского отделения Николая Чернышевского об увольнении из семинарии

«С согласия и позволения родителя моего, протоиерея церкви Нерукотворного Спаса, Гавриила Черны-

шевского, я желаю продолжать учение в одном из русских императорских университетов»

Успехи Чернышевского были аттестованы следующим образом: по философии, словесности и российской истории — «отлично хорошо»; по православному исповеданию, священному писанию, математике, латинскому, греческому и татарскому языкам — «очень хорошо»; при способностях отличных, прилежании неутомимом и поведении очень хорошем

Не сразу было решено, где лучше учиться сыну — в ближайшей ли Казани, в Москве ли, в Петербурге ли. Когда остановились все-таки на Петербурге, потому что там жил родственник Чернышевских Раев, будущий отъезд Николая Гавриловича стал главной темой до машинных разговоров. Так продолжалось целый год. Без денежному хозяйству протоиерея предстояло серьезное испытание. Нужно было выкроить немалые средства на самый переезд в столицу, хотя бы и «на долгах»<sup>1</sup>, что было значительно дешевле, чем ехать с почтовыми. Рассчитывать приходилось все: и цену меры овса, и стоимость содержания в пути извозчика с его тройкой, и «поборы» на шоссе, и плату на постоянных дворах. Дальше шли расходы на первое устройство — квартира, форма, учебники — и, наконец, расходы Евгении Егоровны на обратном пути. Мать ни за что не соглашалась отпустить сына одного и, пренебрегая слабым здоровьем, решила сопровождать его до Петербурга, чтобы своими глазами убедиться, как устроится их лю бимец вдали от родных. Волнение, с каким здесь ждали путешествия в Петербург, было тем острее, что ведь ни-

<sup>1</sup> Отправляясь «на долгах», путешествующий нанимал пару или тройку лошадей «от места до места» и не меняя экипажа, ехал всю дорогу на одних и тех же лошадях

кто из семьи никуда не ездил, если не считать поездок отца по епархии в заволжские уезды

Отъезд из Саратова был назначен на 18 мая. Сборы тянулись до вечера. Потом началось прощанье. Наконец путешественники разместились, лошади тронулись. В последний раз, выглянув из повозки, Чернышевский посмотрел на высокую фигуру отца, вышедшего на улицу в домашнем одеянии — в полукафтани из тонкой шерстяной материи, подпоясанном вышитым поясом. Таким и сберег его в памяти сын, уезжая в далекий ска-  
зочный Петербург.

Поездка предстояла длительная, трудная. В первый день отъехали всего верст двенадцать от Саратова и заночевали в Ольшанке. Эта медлительность настраивала Чернышевского на шуточный лад: «простые извозчики лошади, пара с пятнадцатью пудами клади, могут нестись с быстротою трех с двумя третьими ( $3\frac{2}{3}$ ) верст в час», — писал он с дороги Саше Пыпину и приводил уравнение:  $x = 1800 - 43$ , показывавшее, что число верст, которое оставалось проехать, равнялось 1757. И далее из математических формул следовало, что остается ехать только  $41\frac{24}{43}$  дня, или пять недель шесть дней и около  $11\frac{1}{2}$  часов.

И шутка эта была недалеко от действительности: путешествие Чернышевских из Саратова до Петербурга длилось (с остановками в дороге) тридцать два дня.

В пути его не оставляло радостное возбуждение. Мысль о том, что он едет учиться в столицу, приводила его в восторг. Он старался скрыть свою радость, чтобы Евгения Егоровна не подумала, будто ему легко далась разлука с родным гнездом.

Белгаз. Китоврас.. Балашов — все было ново саратовцам. Но погода сначала не радовала. Холодный ветер гнал облака, частые дожди размывали и без того

плохую дорогу Повозку кидало на ухабах и рытвинах, при въездах в села она тонула в огромных непросыхавших лужах. По сторонам тянулись бесконечные взрытые поля, мелкий ельничек, одинокие полосатые версги...

В селе Баланды знакомый Чернышевских Протасов, прощаясь с ними, сказал после обычных напутственных пожеланий: «Желаю вам, чтобы вы были полезны для просвещения и России». Слова эти поразили Чернышевского, потому что дней за пять до отъезда его из Саратова священник П. Н. Каракозов в разговоре о предстоящей Чернышевскому поездке в Петербург тоже сказал ему нечто похожее. «Дай бог нам с вами свидеться, приезжайте к нам оттуда профессором, великим мужем, а мы уже в то время посеем»

Осталась дорожная записка Чернышевского об этих двух разговорах, красноречиво свидетельствующая об умонастроении восемнадцатилетнего юноши в пору его переезда в Петербург: «Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который хоть и нечаянно, без намерения, может быть, но все-таки сказал то, что ты сам думаешь, пожелал тебе того, чего ты жаждешь и чего почти никто не желает ни себе, ни тебе, особенно в таких летах, как я, и положении.. Мне теперь обязанность: быть им с Петром Никифоровичем (Каракозовым — Н. Б.) вечно благодарным за их пожелание: верно эти люди могут понять, что такое значит стремление к славе и соделанию блага человечеству... Я вечно должен их помнить».

Только к концу месяца добрались, наконец, до Воронежа. Здесь передышка на несколько дней после невыносимой тряски, после ночевков в курных избах и на постоянных дворах. Начали, как подобало тогда, говеть, потом причащались, осматривали воронежские церкви,

монастырь, кафедральный собор. Мать накупала образочки и колечки для племянниц, оставшихся в Саратове.

На десятый день по отъезде из Воронежа показала Москва. Направили путь свой прямо к уроженцу Саратова Клиентову — священнику церкви Воскресенья Словущих на Малой Бронной, у которого Евгения Егоровна решила остановиться на несколько дней.

Отдохнув с дороги, саратовцы отправились осматривать Кремль. Путь лежал мимо университета и манежа. А затем Чернышевский пошел на почтамт за письмами от отца и с письмами в Саратов. Удивлялся, проходя по Кузнецкому мосту, что моста-то и нет. Удивлялся обилию студентов — всюду мелькали их голубые воротники, даром что каникулы. Никак не мог свыкнуться с мыслью, что он в Москве, чудно казалось.

Наутро Евгения Егоровна объявила о своем решении взять сына в Троице-Сергиевскую лавру помолиться перед поступлением Николенки в университет. Ей хотелось, чтобы в этой поездке их сопровождала старшая дочь Клиентова, Александра Григорьевна, замещающая в доме хозяйку.

Александра Григорьевна невольно располагала к себе всякою своею сердечною мягкостью, естественным благородством, тактом и какою-то затаенною грустью. Чувствовалось, что дочерям несладко жилось под отчим кровом, и особенно заметно это было по поведению Александры Григорьевны, уже успевшей побывать замужем, овдоветь и снова возвратиться к отцу, чтобы принять здесь на себя тяжкое бремя материнских забот о большой семье.

Дурное обхождение с нею отца пренебрежительно смотревшего на вдовую дочь, как на служанку, не

ускользнуло от Чернышевского и сразу пробудило в нем острое чувство обиды за горькую участь молодой женщины, лишившейся личных радостей и всецело посвятившей теперь свою жизнь сестрам и отцу.

Ему поминутно хотелось обратить на себя ее внимание, но он был робок, неловок, все время терялся и упускал одну за другой возможности проявить свое расположение к Александре Григорьевне.

Только после настойчивых просьб Евгении Егоровны Клиентов дал позволение дочери отправиться к Троице-Сергию на богомолье вместе с Чернышевскими.

В лавре путешественники «молебствовали» о прекращении дождя, дабы не так трудна была дорога до Петербурга.

На возвратном пути, пока Евгения Егоровна дремала в повозке, Чернышевскому удалось завязать серьезный и длительный разговор с Александрой Григорьевной, и он был поражен тонкостью понимания, верностью непредубежденных ее суждений, чистотой ее взгляда на жизнь.

Он и не подозревал тогда, что с ним говорит одна из ближайших подруг детства и юности Наталии Захарьиной (Герцен). Это открылось ему лишь несколько лет спустя, когда снова довелось ему столкнуться с Клиентовыми.

Александра Григорьевна очень неохотно говорила о себе. Но даже из отрывочных, беглых разговоров в дороге у него составилось более или менее ясное представление о собеседнице. И теперь его все сильнее трогала грустная судьба ее и все большей симпатией проникался он к ней...

По возвращении с богомолья мать и сын подвели итоги многодневного путешествия от Саратова до Мо-



сквы, подсчитали все крупные и мелкие расходы. Вышло, что с ямщиком Савелием лучше расстаться и купить места в дилижансе. Это дороже, но быстрее и удобней. Правда, Савелий рядился везти не только до Москвы, но и от Москвы до Петербурга, но он оказался пьяницей, ненадежным человеком. Чернышевский писал отцу по-латыни:

«Si vis, alias etiam causas tibi adduco: a perpetuo motu in rheda nostra, carente elasticis sustentaculis (рессор), meum quoque pectus et totum corpus conflictabantur et aegrotabant: quid de matre dicam? Dei gratia sani sumus, sed valde motu in rheda conflicti (растрясены) quae omnia in diligenti locum habere non possunt» (Если угодно, и другую причину приведу: при отсутствии у повозки рессор даже у меня грудь и тело болеют от постоянной тряски и ушибов, что же сказать про маменьку? Милостью божией мы здоровы, но очень растрясены тряской в повозке, чего в дилижансе не будет.)

Билетами запаслись заранее. В день отъезда на обширном дворе почтамта, где стояли огромные дилижансы, собрались пассажиры. По лестнице, укрепленной позади кузова дилижанса, носильщики тащили наверх багаж, пассажиры торопились занять места.

На рассвете 19 июня, после трех суток пути, дилижанс, в котором ехали Чернышевские, прибыл в северную столицу и остановился во дворе дома на углу Малой Морской и Невского. Как только город проснулся, они отправились на поиски Раева. Тот радушно принял родственников и тотчас помог им отыскать временную квартиру близ своей, неподалеку от Невского.

Из окон был виден достраивающийся Исаакиевский собор. Огромный, уже вызолоченный купол его сиял на солнце.

Днем Чернышевский вышел на многолюдный Невский. От гуляющих прохода не было, «как за пятьдесят лет, говорят, не было хода судам по Волге от множества рыбы». Подолгу простаивал юноша у витрин книжных магазинов, обилие которых его изумляло. С ненасытным любопытством провинциала, выбравшегося из глуши, Чернышевский спешил все осмотреть в Петербурге, чтобы поделиться своими впечатлениями с родными.

В письмах к ним он старался применяться к интересам каждого из них. Бабушке рассказывал о том, что видел митрополита на Невском и что скоро, может быть, увидит царскую семью. «Видели мы и паровоз: идет он не так уже быстро, как воображали: скоро, нечего и говорить, но не слишком уже». Отцу — о великолепии здешних соборов, о землянках, преуспевающих в Петербурге, о будущем своем устройстве, о хлопотах по приему в университет. «Я до смерти рад и не знаю, как и сказать, как Вам благодарен, милый папенька, что я теперь здесь... Теперешнее время очень важно для решения судьбы моей...» Саше и двоюродным сестрам шутливо изображал всю прелесть столичной жизни для тех, у кого 50 тысяч годового дохода.

До начала экзаменов было еще далеко, но Чернышевский не переставал исподволь готовиться к ним. Впрочем, и свободного времени оставалось немало. Не прошло и двух недель, как саратовский «библиофаг» изучил все каталоги знаменитых петербургских книгопродавцев. Часами просиживал он в книжных лавках Беллизара, Смирлина, Ольхина, Грете, Ратькова.

12 июля, в день своего рождения, Чернышевский подал прошение о поступлении на первое историко-филологическое отделение философского факультета Петербургского университета.

Евгения Егоровна считала, что вернее всего цель будет достигнута обходным путем. Посетить профессоров, которые будут экзаменовать сына, постараться разжалобить их, объяснить, что издалека приехали, затратили большие деньги, просить о снисхождении. Это оскорбляло Чернышевского. Но он осторожно и сдержанно критиковал в письме к отцу план матушки, боясь выказать неуважение к ней. Он понимал, что не нуждается в снисхождении и милостыне. Затрагивались его самолюбие, его честь. «Как угодно, невольно заставишь смотреть на себя, как на умственно-нищего, идя рассказывать, как ехали 1 500 верст мы при недостаточном состоянии и прочее... Да едва ль и выпросишь снисхождения к своим слабостям этим; ну, положим, хоть и убедишь христиаради принять себя, да вопрос еще: нужна ли будет эта милостыня? Ну, а если не нужна?.. А ведь как угодно, нужна ли она или нет, а прося ее, конечно, заставляешь думать, что нужна. Как так, и пойдешь на все четыре года с титулом: «Дурак, да 1 500 верст ехал: нельзя же!» ...А вероятно, и не нужно ничего этого делать. Не должно — это уже известно».

С утра 2 августа начались экзамены. Первый — по физике. На экзамене присутствовали ректор Плетнев и попечитель Петербургского учебного округа Мусин-Пушкин. Экзаменовали сразу за тремя столами. Пока сидел Мусин-Пушкин, экзаменующихся вызывали по алфавитному списку, а когда часа через два он ушел, вызывать перестали, и каждый подходил сам, как на исповеди. При попечителе очередь до Чернышевского

не дошла. Профессор ответами его остался весьма доволен.

— Очень хорошо — сказал он в заключение, — Где вы воспитывались?

Каждый из экзаменующихся дожидался выставления при нем отметки, но Чернышевскому показалось слишком неучтивым нагибаться к самому журналу, тем более, что и профессор отличался близорукостью и, проставляя отметку, низко склонился к столу.

Ободренный успешным началом, Чернышевский на другой день великолепно отвечал на экзамене по алгебре и тригонометрии. И снова был огорчен, что отметка осталась ему неизвестной. «Просто хоть очки надевай, — писал он домой, — профессор нарочно при тебе ставит, чтобы видел, тебе ли точно поставил он, не ошибся ли в фамилии, а ты не видишь».

На экзамене по словесности саратовцу выпало написать на тему «Письмо из столицы». Аттестовано оно было высшим баллом.

К Фрейтагу, на экзамен латинского, он шел полный самых радужных надежд. Он мог перевести без приготовления Тацита, Горация, любого автора, мог бы свободно объясняться с профессором по-латыни, тем более, что Фрейтаг плохо владел русским, и если экзаменующийся не говорил по-немецки, профессору помогал объясняться переводчик. Тут бы и заговорить по-латыни. Но сразу не догадался, а когда спохватился, то Фрейтаг уже занялся с другим. Только четыре. По латыни, которую Чернышевский так превосходно знал!..

В общем экзамены прошли более чем удачно. Для поступления нужна была сумма баллов, равная тридцати трем. Высшее число — пятьдесят пять. Чернышевский набрал сорок девять

«Поздравляю, мой родной, с сыном-студентом», — писала мужу Евгения Егоровна, собираясь отъезжать домой в Саратов.

На другой день после экзаменов были заказаны шляпа и шпага. Сначала хотели поискать в Гостином дворе подержанные, подешевле, но радость была так велика, что и расход на заказ показался законным.

Евгения Егоровна только все огорчалась, что уедет, не увидев сына в студенческом сюртуке. Впрочем, образчики сукон, из которых заказали шинель и сюртук, она брала с собою, чтобы отец по достоинству оценил дорогой материал...

До самой заставы проводил Чернышевский свою мать, когда 26 августа она вместе с спутницей выехали на «троешных» в Москву, чтобы ехать оттуда в Саратов «на долгих».

Впервые предстояло ему остаться одному в огромном незнакомом городе. Не так ощутительна была разлука с родным домом, пока мать еще была здесь. Теперь она уносила с собою последнее родное тепло, близость которого придавала ему силы. Но надо было крепиться, надо было поддержать и в ней твердость перед разлукой, и он с самым веселым лицом шутил, смеялся над тем, что матушка накупила в дорогу репы и тому подобных пустяков. Расстались со слезами, но гораздо спокойнее, чем он ожидал... Евгения Егоровна обещала не тосковать дорогой, не думать о разлуке, а «только молиться богу и играть в карты с Устиньей Васильевною...»

